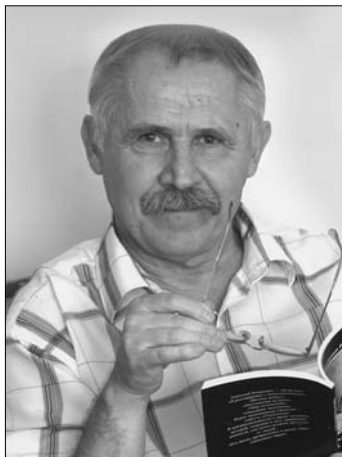


ГЕОРГИЙ МАРЧУК



ДАВИД-ГОРОДОКСКИЕ КАНОНЫ*

Канон Горыни

Река не человек, она злой не бывает. Шумит, бежит вода Горыни, и куда она уносит наши годы? Очевидно, так думает рыбак, который сидит на носу лодки с удочкой в руках и бросает суровый взгляд на ватагу подростков, которые, как жеребята, выбрасывая вперед ноги, с шумом прыгают в воду в двух-трех шагах от лодки. Может, нам только кажется, что рыбак размышляет о быстротечности жизни, а он озадачен житейскими хлопотами: нервничает, как бы неслухи не распугали всю рыбу, которой богата река. А вас никогда не интересовало, о чем думает рыбак, сидящий на берегу? Не хочется верить, что мысли его только о рыбе. Вода, как и огонь, своей изменчивостью наводит на размышления. Дерево статично. Насладившись его красотой, идешь дальше, не задерживаешься, от воды же глаз не оторвать. Рекой не брезгают, но ее и не обожествляют, как это принято в иных краях, просто относятся к ней с уважением, как к старшей сестре. Ее неброскую красоту оценивают в зрелом возрасте, достаточно повидав мир. Сочувствуют хозяину, дом которого стоит у самой реки, — беспокойная жизнь. Живи и всегда думай, измеряя берега, не снесет ли вода дом, не съест ли его?

МАРЧУК Георгий Васильевич родился в 1947 г. в Давид-Городке Брестской области. Окончил Белорусский театрально-художественный институт и Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве. Прозаик и драматург. Автор многих книг прозы и пьес. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь. Секретарь правления Союза писателей Беларуси. Живет в Минске.

* Давид-Городок – местечко в глубине Полесья.
Канон (от греческого “норма”) – одна из форм песнопения, являющаяся диалогом между теццом и хором.

В этой вековой борьбе воды и суши чаще побеждает вода. Но об этом не думаешь. Кажется, все неизменно... низенький, пологий бережок, которому ярко-зеленая трава уже который десяток лет помогает сдерживать быстрое течение. А вот песок бессилен, случается, в одну ночь его смоег: глядишь, посреди реки утром выросла ярко-желтая коса. Рыбак, говорят, семью не прокормит, однако городчуки не позволяют себе подтрунивать над рыбаком. Почти каждый в душе рыбак и любит это занятие. Нет такой семьи, в которой бы не любили или не умели варить отменную уху. Она, река, первая и воспитывает, закаляет характер подростка, укрепляя его слабые мышцы летом — купанием, а зимою — катанием на коньках.

Река одаривает настойчивых и терпеливых сотней-другой верховодок. Не всякий, однако, рискнет прыгнуть с перил моста в воду. Страшновато. У реки свой нрав, она показуху и бездумный риск не прощает. Утопленников, случается, находят за три-пять километров от места трагедии.

— Не ходи, родненький, один на берег. Не дай Бог, упадешь в воду.

И все же река добрая. На Маккавеев день, праздник цветов у местичей, женщины бросают с моста один-два цветка из букетика, который только что освятили в церкви. Плывут гладиолусы, бархотки, астры, бессмертники. Тихо принимает дары река. Далеко плывут цветы, не тонут... Это так напоминает Млечный путь на широкой синева-зеленой глади реки. Вербы, лозы, тополя, украшающие ее берега, отражаясь, “озеленяют” бледно-серую воду. Женщины с необычайно просветленными лицами, со светлой печалью в глазах, не уходят, какое-то время стоят на мосту и провожают цветы взглядами, словно расстаются с мечтами и надеждами, не теряя оптимизма в ожидании счастья, полнокровного, как сама река. Лишнего счастья не бывает. Никто из живущих ныне уже не помнит, а река помнит, как из ее льда на Крещение вышпиливали большие кресты, в которые вставляли свечи. Таинственная луна на небе не так привлекала внимание, как эти светящиеся на льду кресты. Зримо ощущалась тогда божественная связь земли и неба...

Умер девяностолетний мастер. Он один умел делать давидгородокские дубы-лодки. Никто его смерти и не заметил, как не замечают ее у очень старых людей. Река заметила. Она без лодок, как огород без цветов. Такое чувство, что моторные лодки ее раздражают, а вот деревянное весло она сама ласкает.

Бежит вода, течет река, куда она уносит мечты? Так сладко лежать на теплом песке и надеяться, что впереди только доброе. И это действительно так. Ведь все человеку дается в радость, а чтобы он осознал цену этой радости, иногда посылается и горе. На реке благодать чувствуется больше всего. Зачерпнул рыбак пригоршней воды, омыл ею лицо. Душно. Птица летит — не слышно.

Только в Городке умеют и удят рыбу женщины.

— Олена поставила на газ бульбу, побежала к реке, наудила рыбы, воротилась, так, поверила, бульба в горшке не успела свариться. Вот уж уродилась вертка, — удивляются городчанки.

Вода теплая. Рыбак окунает свою кепку в реку и надевает мокрую на голову, предусмотрительно выкрутив ее, чтобы вода не текла за воротник. Смешно, право. Воду из реки для питья и на чай не берут: много ила. Давным-давно, когда все вокруг было более чистым, брали. В туманные дни молодежь с замиранием сердца бросает с моста в воду камушки. С таинственной улыбочкой все ждут, когда камень булькнет. Огорчается тот, кто не услышит бульканья своего камушка — верная примета: желания в этом году не исполнятся. Всех, чьи хаты стоят на набережной, зовут рыбаками. Никто не обижается. Детей одних, без присмотра старших, играть в лодки не отпускают. Бранят непоседливую малышку за непослушание и частенько наказывают ремнем. Дети любят, сидя в лодке, опустить в воду босые ноги и болтать ими. Вечером влюбленные близко к воде не подходят... Идут на Церковную гору: оттуда видно, как в воде отражаются звезды. Так тихая хозяйка Городка и живет: как символ вечной жизни, как помощница, как тайна, как райское наслаждение, как “доктор”, который лечит бесплатно, снимает нервный стресс. А еще как гордость: “А у вас нет такой красавицы, как у нас!” Никто на нее не в обиде за то, что она со дня основания местечка

пережила уже девятьсот пятьдесят тысяч жизней городчуков и неизвестно, сколько еще переживет. Садится за тополями солнце. Огромное красное небо. Завтра вновь будет солнечный, теплый день. Дай Боже встретить его всем во здравии и радости. Не дает покоя все та же мысль: о чем может думать слегка сутулый, с заметной сединой на висках рыбак? Он не спешит домой. И напрасно заманивают его к чайной отведать пивка. Он лениво мнет в пальцах левой руки мякиш белого хлеба: на белый лучше клонет и плотва, и язь. Бежит река, шумит вода, о чем-то поет. Не проси ее, не задержится, забереет, унесет и твои года. О, Горынь моя, Горынь!

Канон Хате

Городчук рождается с мечтою разбогатеть, построить новый дом, поставить на ноги — выучить детей и детям построить новую хату. Городчуки довольны, если работа ладится, если дети не болеют и когда “деньги идут”. О, Боже, как это немного, и как тяжело это дается. Дом должен быть обязательно “как у людей”. Это мерило. С большими окнами, с крыльцом и верандою, на четыре-пять комнат, чтобы в одних окнах солнце входило, а в других — садилось. Чтобы зал выходил на улицу, и чтобы в хате были шкафы, ковры, иконы, ковровые дорожки, вазоны, модный импортный тюль, люстра как минимум на три лампочки, и чтобы умывальник был, и чтобы пол не скрипел, потому как, гласит поверье, если он скрипит — по нему ходят черти. Если вы переступили порог дома городчука, вас обязательно поведут в зал, посадят в мягкое кресло или на диван, снимут передник, вытрут руки и скромно сядут рядом, чтобы выслушать соседа или соседку. Чужих и цыган в зал не приглашают, встречают на крыльце, если не успевают — на пороге, а лучше возле калитки.

Дом... хата... здесь каждая вещь ждет, чтобы к ней прикоснулись. В доме живут до тех пор, пока ветры не распотрошат крышу и не просочится солнечный луч между бревен. Случается, что и пол провалился, и печь не греет, и грубка копит, и плесень на окнах и дверях, и стояк прогнил, не держит скобу... а люди терпят... ведь строительство нового дома, который, случается, возводят рядом со старым, идет медленно, по мере накопления средств. Нет привычки справлять новоселье, если столярка не готова и пол не настлан. Осиротела хата без огня в печи. В конце двадцатого столетия вынесли городчуки свои газовые плиты в летние кухни в угол огородов.

— Мы печь уже не топим до зимы, — иногда с грустью говорит одна соседка другой.

Но вот из ближних деревень несут ягоду чернику. Хочешь вкусных пирогов — затопи печь. За домом ухаживают, как за невестой. Вид с улицы, как куколка. Обшалеван, окрашен. Разве что пьяный или уж совсем неприятный хозяин идет в сапогах на переднюю. Упаси Бог. Жена, толкая в плечи, обругает, обидится на неделю. Летом все силы и время забирает огород, а уж зимою отогревают у грубки и руки, и ноги, и плечи. Глаза слипаются, сон побеждает, а кажется, бесконечно бы слушал и слушал о том, что было. Не упустят случая, напомнят и знаменитую прическу:

— Не живи уныло, не жалей, что было, погадай, что будет, береги, что есть.

Печь да грубка не отпускают, не хочется зимою выбираться в большой мир, да приходится. Нужда гонит, промысел торопит. Надо везти на столичный базар семена цветов. Женщины одна к другой ходят на смотрины: “Что нового купили хозяева в дом?” Все хвалят. Таков ритуал. Нет моды хаять вкус хозяйки. Высшей оценкою служит возглас: “Надо и мне такое купить”. На бегу в доме не пьют и не едят. Только за столом и только тогда, когда все сядут. Кажется, и невелика хата, а свадьбе на сто гостей места хватает. Правда, танцевать уже выходят на улицу. Прошивают молодую. Пусть идет на свой хлеб, а на пироги в родительский дом пусть приходит. В доме свои чудеса. Даже от игры теней, которые посылает, благодаря ветру, лампочка под металлическим абажуром, висящая на столбе перед окнами. Время от времени под полом или на чердаке шуршат мыши, вечные спутники городок-

ской хаты, на крыльце мяукает кошка, просится в дом. Все спят под теплыми одеялами. Идет открывать дверь, впустить кошку, бабушка. Гостю вставать не пристало. И страшно к тому же: кажется, что в окна заглядывают покойники, присматриваются: и какой это человек спит на их кровати? А в солнечный день — ожившая сказка, терем-теремок. В каждом доме много зеркал. Раздолье солнцу! Хочется танцевать. И молодые беспардонно включают магнитофоны. И хотела бы после бессонной ночи вздремнуть бабуля — не дадут. Охая, идет в огород полоть грядки. Молодые, пританцовывая, переходят из одной комнаты в другую, от одного зеркала к другому. Глядят в окно. А вдруг высмотрят того, в кого, кажется, влюблены. Говорят:

— Твой парень.

— Твоя девчонка.

Дом и спасает.

— Люба, а где твой муж? Хотели пригласить в чайную на пиво.

А жена-то его спрятала в хате, приказала молча сидеть и рыпаться, потому как надо съездить на сотки, привезти ботвы, моркови, молодой картошки. И муж тихо сидит, не подходит к окнам. Послушный.

— Нет его с работы.

Липую печь не топят. Душа липы в огне плачет. В ходу осина, березняк, сосна, лоза или брикет. Это у тех, кто уже выстроил себе двухэтажный коттедж с котлом отопления.

В траурные дни дают покойнику переночевать в хате. Ставят гроб в зале. После похорон, когда неутешное горе не отпускает, приходят к вдове или вдовцу родственники и соседи, собираются в передней, где был вчера гроб, и говорят, говорят... Обязательно кто-нибудь из самых близких оцелует поцеловать, и не на одну ночь. На стены портреты покойников не принято вешать. Фотографии умершего в гробу, у церкви, на могиле прячут от детей в шкафах под бельем. В доме, где остался вдовец или вдова, роз перед окнами, которые глядят на улицу, не садят. По дому, уничтоженному пожаром (редко случается такое от удара молнии), плачут, как по человеку. На пепелище новую хату не возводят, берут другой пляц, которых уже катастрофически не хватает. И тогда уж строят не из сосны, а из кирпича. Случалось, что дома, срубленные старыми мастерами, наводнение сносило в реку. Дома не рассыпались, не поддавались натиску льда и воды. Каждый дом имеет свой характерный запах, однако в каждой хате пахнет хлебом, семенами, лекарственными травами (зверобоем, ландышем, мятой), сушеными грибами. Из всех яблок запах у антоновки самый устойчивый.

О, хата, любимый отчий дом, маленький Ноев ковчег, колыбель! Говорят, если умирает хозяин — тогда труба покосится направо, а если умирает хозяйка — тогда налево.

Стол располагают посредине зала и обязательно под ажурной скатертью. На нем зеркало, хрустальная ваза без цветов и будильник, который тарахтит, как молотилка на току. Дом не любит тишины. И муха, бывает, бьет о стекло, и бабочка не найдет форточку, и оса залетит, и малярийный комар толчет потолок, и кузнечик заблудится. Яблони и вишни сторожат окна. Даже густой дождь из дома не виден. Его слышат по шуму на крыше. Все уверены, что молния в дом, в котором висят иконы Христа, Божией Матери, Николы-Угодника, не ударит. Похоже, что так. Бьет в стога, в деревья и только раз в десять лет попадает в хату. Тогда говорят: “О, тут, видно, много нагрешили”. Молния, ослепляя, разрывает небо. Где-то совсем рядом страшно гремит, словно в аду, а хозяева тихо-смирненно сидят, повторяя вслед молнии: “Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бесмертный, помилуй нас”.

Не обижаются, когда, сидя вечером на берегу реки с бутылками пива, кто-то один вдруг скажет:

— С вами, хлопцы, хорошо, но пойду домой.

В доме корни, начало хозяйского подхода к жизни, вкус, чистота, уют, человеческое тепло, которое так умеет аккумулировать хата и растрачивает до конца, хоть в ней и перебивает за ее век тысяча людей. Нет, не в роддоме режут пуповину — режут по-настоящему в доме. И ничто так не уродует хату, как смерть ее хозяев.

Радуйся, если осталась отцовская хата и есть куда возвращаться. Стократ радуйся, если есть не только куда, но и к кому возвращаться. Радуйся.

Канон Улице

В стуче по оконному стеклу есть своя музыка: “Тук, тук, тук...”

— Женька, выходи на улицу!

Зимой или летом, осенью или ранней весной — всегда слышится вслед:

— Куда несешься? Оденься потеплее.

Хватаешь блинчик, съедаешь на ходу и айда на улицу. Две сестры-близнецы, которые идут к заутрене, шарахаются в сторону, подальше от окна, из которого вылетает мяч, а за ним и сам футболист. Тут уж нужен глаз да глаз, чтобы кому-нибудь сторяча не разбить окно. Не то и от своих влетит, и потерпевший, если догонит, даст пинка. Лучше перекинуться в карты возле лодки, опрокинутой вверх дном и еще не осмоленной. Учителя по этой не заасфальтированной улице не ходят, даже за водой, хотя и знают, что в этом колодце она самая вкусная, чистая, прозрачная. На улице впервые видишь звезды на небе и, глядя на них, впервые представляешь землю планетой. Надоедают карты — а подросткам все быстро приедается — можно поиграть в цурки, в маянку или просто посидеть на колодах, развлечься плевками: кто дальше плюнет. Но что-то всех волнует, гнетет душу, которая только-только пробуждается. Такое чувство, что все знают какую-то тайну, но чего-то не договаривают. А вот и они... Три подруги. Не идут — плывут в цветастых платьях до колен, усмеваются, проходя мимо, не устаивая мальчишек даже взглядом. У тех же шеи, как на автопилоте, поворачиваются вслед за девушками. Ладони покрываются испариной, и почему-то тот, кто пытается говорить, начинает заикаться. Долго длится пауза. До тех пор, пока не обратят внимания на мать, которая шлепает своего семилетнего сына:

— Зачем убил жабу? А? Не убивай. А если бы тебя так мучили? Вот горе мое, о-ё-ё-й...

Все всё и обо всех знают. У кого что где лежит, какого цвета обои, сколько в саду яблонь и ранних груш.

— Сосед, ты не держи зла на них. Крали до нас, крали мы, и они крадут. Жалко тебе, что ли, горсти вишен? — успокаивают соседи друг друга.

Своя улица, только своя, самая родная. На своей улице своих ровесников не бьют и не обижают. На других улицах или около клуба — там и подраться можно, а здесь братство.

К девкам со своей улицы ходить не позволяют:

— Танцевать можешь, а провожать домой не позволим! — предупреждают, презрительно скривив губы. Пока девушка сама не придет на выручку:

— Иди отсюда, а то матери скажу, что ты ко мне лезешь.

Опеку как рукой снимает. Долго не проходят обида и злость. Уличные прозвища никакими почетными званиями и высокими должностями не вытравить:

— К Матёнку дочь приехала...

— А Батенька вчера огурцы в Минск возил...

Гудит вся улица дважды: когда свадьба и когда проводы в армию. Вынесут на улицу и закуску, и сто граммов нальют.

— Когда твоему в армию?

— Еще через два года.

— Ох, чтоб войны не было...

Умолкли разговоры у колодца, в котором каждый, кто черпал воду, видел свое: и месяц, и солнце, и старую игральную карту, и пробку от шампанского. Теперь почти в каждом дворе свой колодец, из которого электромотор гонит в дом воду. Соседки на лавках у забора собираются предвечерней порой, когда “усё паробілі”. Бывает, ветер с реки неожиданно принесет прохладу, а расходиться очень уж не хочется. Самый разгар беседы. Тогда одна быстро идет в хату, выносит свитер, кофту, телогрейку, жакет, раздаст собеседницам. Нет такой силы, которая могла бы прервать задушевные разговоры.

Коровы подоены. Мужчины смотрят по телевизору футбол. Отцветает сирень. Вишня цветет-красуется. Так не хочется расставаться с прожитым днем. Никому не хочется. Несказанно повезло той улице, по которой не ездят машины. Многие улицы уже в послечернобыльские времена залили асфальтом. Мужчины выносят на улицу гладкие, как их лысые головы, самодельные сосновые табуретки. На лавке им сидеть неудобно и жестко. Режутся в карты. Как только кто-нибудь включит единственную лампочку на столбе, расходятся, растирая руками затекшие спины. В еще не случившемся мраке слышится:

— Женька, Женька, иди домой.

Бесполезно. Всех тянет в клуб. Там музыка, по-нынешнему дискотека, там танцы и там те три красавицы, и опять, как назло, в коротеньких юбочках. Поэтому зови мать, не зови, а пока не кончатся танцы — не жди. Хорошо еще, если сразу после танцев, устав, притащится домой. Бывает, не выпив свежего молока, не проглотив ни куска, валяются в постель, чтобы завтра снова на улице. Дома обязанности, а на улице — воля.

Редко бывает, чтобы соседи разругались на веки вечные, хотя мелкие ссоры случаются частенько, да и те под пьяную руку. То, что за забором, на улице, то — ничье. Долго, лениво и неохотно привыкают к тому, что на ничейной территории. Озорные подростки гоняют на велосипедах по чужим улицам, распугивая кур, а по своей едут, не фанфаронясь, неторопливо и важно. Только на твоей улице живет единственный на весь городок художник. Потому, случается, пахнет олифой и красками. Но его не ценят, не умеют гордиться его талантом. Шестидесятилетние с какой-то щемящей грустью вспоминают недавнее прошлое, когда в мартовские дни разлива реки "плавае" весь Городок. В лодках-дубах добирались на базар, к школе, на свидание, в гости и отведки. И был звездный час у сапожников. По две-три пары сапог заказывали для семьи. Вода заливала улицы и огороды надолго, до первого брачного кружканья лягушек. Местный философ не упускал возможности оценить красоту паводка:

— Оливковые сады, тропические пальмы, кактусы в пустыне проигрывают сразу распустившейся в воде нашей иве. Доложу вам, заражаешься любовью к природе, к жизни на годы.

Длинный, длинный день, как подпорка под бобами в огороде. Один, потом другой закурили, чтобы родители не видели. Так хочется, тянет подойти к окну одной из трех красавиц: а вдруг повезет, подсмотришь, увидишь то, от чего кровь кипит. Грудь у каждой налилась за последний год, как наливаются сладкие груши. Однако же все стесняются признаться в этом тайном желании, и потому никто никуда не идет. Вот перед армией можно будет все. Эт-т то-о-очно.

Не торопясь, возвращаются из церкви с вечерни сестры-близнецы. Они в строгих синих платьях с белыми ажурными воротничками. Если наблюдать за их ежедневным ритуалом, то похоже, они весьма набожны и ходят в церковь почти каждый день. Так кажется, время плывет медленно.

— Боже, как мало был на улице! Какой короткий день!

В армию провожают всей улицей. Придут рождественницы Ганна, Олена, Надя, Наталка, Люба, Одарка, Мария. Придут соседи Иван, Грицко, Яков, Володька, Васёк и Коля. Плачут только мама и бабушка.

— Женечка, Женечка, ты же напиши сразу, как только привезут на место. Сынок, родной. Как же мы без тебя, как улица?

Три красавицы тоже пришли проводить. Шагают все под звуки марша "Прощание славянки", который лихо наяривает местный музыкант. А потом все вместе поют ту песню, которую любит слушать или петь новобранец. Три красавицы поют тоже. Но одна поет с затуманенными глазами. Последний ветеран последней великой войны вдруг затянет свою "Катюшу". Тут уж подхватят все. Еще помнят слова.

Все сочувствуют новобранцу, и не потому, что идет в армию — идут, случается, и с радостью: хоть профессию там дадут — а вот дождется ли его одна из трех красавиц, на плечи которой он заботливо набросил свой пиджак? Его друг терпеливо учится играть на школьном баяне. Мать его работает

в школе техничкой. А ее родители — люди обеспеченные. Он не хочет понимать, что он ей не пара. Беден. Учитесь играть. Светится одним окном школа. Пиликает парень на баяне. Что-то уже получается. Он выучит песню, которая нравится ей. Ему хочется победить, быть первым. Ему хочется быть любимым, любить, а может, он уже и так любит. Утратит интерес к своей улице, если скоро тоже покинет ее, подается в свет. До тех пор, пока не вырвут его из города телеграммой на похороны столетнего деда, о котором он, признаться, и забыл. Но это будет потом, а пока он с воодушевлением поет под звуки баяна, который слегка шипит, потому что треснули меха. Он добьется ее внимания, обязан добиться. Пойдет с ней за ландышами. Запишется в тот самый школьный кружок самодеятельности, в который записалась и она. Только бы ходила по его улице, не обминала его хату. Он добьется ее, поскольку не в характере городчука отступать от задуманного. И Женька пишет издалека свое первое письмо не родителям, не друзьям с улицы, а ей.

Шумит, все под ту же знакомую мелодию “Прощание славянки”, свадьба. Жених следит за каждым движением, шагом невесты, крепко держит ее за руку. Все же гололед. На всем пути от церкви, где обвенчались, и от клуба, где подписали гражданский акт, счастливо-настороженная невеста одаривает тех, кто попадается навстречу, а больше сопровождает процессию из сорока-восмидесяти человек, которые идут за молодыми, конфетами. Она их достает из обшитой блестками и бусинами сумочки и бросает то в одну сторону, то в другую. Она хочет, чтобы жизнь ее была безоблачной. Старинный обычай, и никто не пренебрегает этим священным ритуалом. Нагнетается, поднимет конфету, если не поймает на лету.

От церкви до порога родной хаты невесты сопровождают молодых подростки и дети, стараясь набрать конфет как можно больше, распахивая их по карманам. Шоколадные приносят домой, а карамель едят на ходу. Боже праведный, как весело, как вкусно. Повезет тому, кто ловко поймает больше шоколадных. Ими он угостит дома мать, отца, дедушку, бабушку. Все отведают, и все припомнят и свою молодость, и свою свадьбу. К окнам счастливой хаты идут женщины с других улиц “паглядзец на вяселле”¹. Уж оценят все, будьте уверены: и красоту молодых, и богатую фату, и количество бутылочек да блюд на столах. Заметят, кто из гостей пришел в новом, а кто в старом платье. Потому-то все, чтобы стыдно не было, стараются приходиться на свадьбу в обновлениях.

Сыплет снег, смеркается, и на душе у всех легко и светло. Прощайте каждый день друг другу мелкие грехи, чтобы они не переросли в большие непростительные. Где-то совсем рядом слышны звуки аккордеона: юный ученик музыкальной школы штудирует очередной вальс. Худошавая жена художника несет на базар два пейзажа, нарисованных на брусках березы. Ей очень нужны деньги, очень: в последнее время муж тяжело хворает. Через щели в штакетнике ползет на улицу, к солнцу, не боясь пыли, наступция. Пахнет сосной.

На улице строят новую хату... Нет, не умрет улица — родной сердцу уголок.

Канон Огороду

Огороды частоколом пространство вокруг дома — вот и будет огород. Работа на нем черная, тяжелая, грязная, но огород городчука кормит. И если бойко идет кушля-продажа, меньше обращают внимания на дом, больше на огород: не затапливается ли водой во время наводнений, добротная ли земля. “Капитал зарыт в огороде”, — не шутя говорят городчуки. Он не только под их неустанным вниманием, но и под контролем властей. Осмотрительные и осторожные, пережившие на своем веку не одну смену власти, городчуки поучают остальных:

— Не трогай власть, пока власть не тронула тебя.

Чудо из чудес. Серые, неприглядные после зимы грядки вокруг дома, готтовые поглотить даже узенькую дорожку от крыльца, эти каких-нибудь пятнадцать соток весной неузнаваемо меняются под лопатой хозяйки, приобретая причудливые формы миниатюрных пирамид, очертания прямоугольников,

треугольников, окружностей. Минет еще две-три недели, и эти геометрические фигуры украсят цветы всех сортов и всех стран, кроме, пожалуй, экзотических. Они так завораживают, что тебя не покидает ощущение присутствия в мини-ботаническом саду, в индийском фильме или в сказке детства.

— Пойду накрою грядки целлофаном, передавали по телевизору — розы будут.

— Пойду поливать огород. Засуха невероятная. Дождей не будет, говорило радио.

— Что делать, ума не приложу. Роза не принялась. Из Риги везла.

— Ой, Аня, отдохни ты уже. А то, не дай Бог, и окочуришься на грядках, — слышится в очереди у хлебного магазина. Почему в очереди? Потому как аккуратные городчуки и городчанки приходят в ту самую минуту, когда подъезжает машина со свежим хлебом. Чего ради приходиться раньше, терять даром время, которого и так не хватает: надо грядки полоть.

И вот тысяча женщин в один и тот же день и час под жарким солнцем — Городок одно из самых теплых местечек Полесья, — в три погибели согнувшись, творят из огорода совершенные полотна, словно ткнут из множества цветов ковры. Семь цветов радуги. Для полноты рисунка надо еще все умножить на семь — боюсь, и этого не хватит, — чтобы представить всю гамму красок. Здесь боишься похвалить какой-нибудь один цветок: не дай Бог, этим обидишь другой. Цветы редко срезают в вазы. Подарят разве что на дорогу уважаемому гостю или срежут на букет школьнику в первый день сентября. А уж как хвастают друг перед другом новыми сортами, словно энциклопедию читают. В огород ходят ежедневно, пока слушаются руки и носят ноги. Сорняки, которые надоедают всю жизнь, находят место:

— Брось кроликам. Или вот... вымости ямки на улице. Машины разбились, холера ясна.

Вечером, когда солнце еще не закатилось за речку, утомленная женщина сядет на крыльцо. Наконец-то. Сил разогнуть спину, кажется, уже нет. Может, впервые за день она обратила внимание на красоту своего огорода. Сама по себе побежала слеза по загорелой щеке... Может, женщина вспомнила, как ее мать, бабушка или прабабушка точно так же гнулись в огороде и сидели после каторжной работы на крыльце. Чудный запах поднимает настроение, кружит голову, будит воспоминания. Почему-то приходит на память все горькое. Такая красота вокруг, а на сердце вечная тревога. Муж неизвестно где задерживается, дети из города давно не звонили. Телефон — вот он, рядом. Если бы деды из гробов встали, не поверили бы: бери в руки трубку, иди в огород, на реку, на улицу и звони, куда душе угодно — хоть космонавтам. Недешево стоит роскошь. Но мода диктует свое.

Надо бы борщ разогреть. Да неохота. Не ужинают, ждут мужей. Как много дней в году, а большинство из них живешь в огороде, во имя огорода и для огорода. Ниспослал Господь время, место и судьбу. А если бы воротить все назад... начать все сначала... нет... желания нет и силы уже не те, да и грех... земля кормит. Семена цветов в пакетики, пакетики — на рынки страны, и опять живи надеждой на огород.

— Хорошо бы дочке кушить платье такого цвета, как эта роза. О, Господи, и где на все денег взять?

Старики, умирая, наставляли: “Доглядай человека, детей и хату с огородом”.

— Боже мой, праведный, пальцы месяцами не знают городского маникюра и лака.

Огород — удел женщин, их крест и радость. Женщины встают чуть свет и ложатся спать последними, прося у Бога тихого дождика, чтобы всем сладко спалось. Зимой все отдыхают от огорода и — удивительно — скучают без цветов. На сиротливых грядках — пепел из грубки да рыбы кости. Не верится: неужели земля вновь родит красоту? В огороде работу выдерживает тот, кто не боится одиночества. Кто же его боится, идет работать в магазин, в школу. С цветами не разговаривают, но очень часто прикасаются к ним, гладят. Ведь цветы, как и человек, живут недолго. Глядя на цветы, вспоминают детей, свадьбы и поцелуи. Из огорода цветов на гроб покойному не

рвут. Зачем? Он их сам поливал, ухаживал за ними. Пусть растут. И в роддом цветы не носят: пусть ребенок с детства к живым привыкает. Как трудно себе представить небо без облаков, так невозможно представить Городок без огородов. Городчук не танцует гоже, ежели одёжа непригожа. При цветах стыдно быть неопрятным. В центр города, в чайную, в магазин, в библиотеку, за хлебом городчук не пойдет в будничной одежде, хоть ты ему золотой зуб вырви. Вакса и щетка для обуви всегда под рукой, под лавочкой на крыльчке. Даже цветок, побитый градом, подвязывают, дают еще немного пожить, отмечая, что мальва наиболее живуча.

— Не топчи мне краски, — отчитывает мать ребенка, высунувшись из окна. — Бери велосипед да привези хлеба!

Все дети, надо отметить, ценят труд матери и сызмальства помогают ей. Они любознательны, энергичны и сообразительны. Повези подростка на областную олимпиаду, допусти его к викторине, так он на одном дыхании выпалит весь полесский гербарий: астры, гвоздики, лилии, настурция, пионы, ромашки, флоксы, бархотцы, гладиолусы, душистый горошек, цинния, маттиола, бальзамин, левкой, портулак, львиный зев, мальва, георгины, рутамята, медуница, эшольция, прис, маргаритки, петуния, бессмертники... Просто не верится, что на каких-то пятнадцати сотках — а здесь же стоят еще и теплицы под огурцы, помидоры, перец — может поместиться этакий ботанический сад в миниатюре.

Уход за огородом надоедает до болезни, а попробуй заведи у городчанки грядку, часть гряды — и драться полезет, и в суд потащит. Нельзя ее представить без любви к драникам, налистникам, студню, голубцам, пшенной каше, компоту из вишен, пирогам с яблоками, черникой, корицей, маком. Трудно представить городчанку без золотых сережек, цветастых платков, пальто с каракулевым воротником. И совсем невозможно представить ее без цветов, без любви к ним. Когда городчанка торгует на рынке семенами цветов, она неприступна, как сирень, растущая под окнами милиции.

Вот почему перед сном после ритуальных слов: “Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас”, она добавляет: “Пошли, Господи, дождик, чтобы в огороде краски не сгорели”.

Канон Школе

Как нелегко первокласснику, взявшись за массивную ручку, впервые открывать тяжелую дверь школы, и как легко, небрежно открывает эту же дверь ногой выпускник, понимая, что поступает некультурно, но бахвальство и апломб берут верх, побеждают этику. Спасаясь от голода, с Востока приехала в школу молодая пара учителей. Их удивляло все: дома, обычаи, нравы людей, их набожность, деловитость. А дети? Дети всюду похожи: озорные, непоседливые, любопытные и добрые. Любопытство переходит в знания, подвижность трансформируется в самодисциплину, непослушание уступает место гордости. Они, эти чужие учителя, вслушивались в местный говор словоохотливых теток и рано полысевших мужиков, не понимали смысла незнакомых слов. Детям на великом и могучем разъясняли суть других слов: “Этнос. Стержень порядочности. Самообразование. Толерантность. Гармония. Духовность”. Некоторые переходят из класса в класс в ожидании новых знаний, некоторые — в ожидании первого поцелуя. И не на людях. Упаси Бог. С закрытыми глазами. В наполовину темном коридоре, потому как в темный класс она боится сделать шаг. Чтобы не заметил классный руководитель 8 “А” и чтобы классная руководительница 8 “Б” не увидела.

Улица выявляет таланты, школа способствует их развитию. На улице свобода кажется всеобъемлющей: хочешь — играй в прятки, хочешь — в войну, хочешь — иди гнуть рогожу по первому тонкому льду. Да так, что прямо сердце заходит от риска: а вдруг лед под ногами треснет, расколется, и тебе не избежать проруби. Ох, как дух захватывает! В школе все по-другому: свобода подчинена дисциплине и обязанностям. Ходить исключительно ради знаний — еще не ходят, не понимают, что знания облегчают жизнь, потому как родители учат, что деньги облегчают жизнь, и только они.

Идут, чтобы быть вместе в классе, на танцах, на уборке бульбы, бураков, кукурузы, чувствовать общность на праздничной демонстрации, на концерте. Родители спокойны, когда дети в школе. “Первая работа, хоть и денег не платят”. Классные не устают повторять: “Научитесь видеть красоту и ценить ее. Любите родину, украшайте ее своими талантами и делами”. В церкви вдохновляют тех, кто пал духом, вернуться на путь добродетели. Городчуки люди не наивные, но сентиментальные. Что есть, то есть. В школе, незаметно взрослея, все время вертятся вокруг привычки к труду и вокруг стержня пристойности. Между собой церковь и школа здесь не соревнуются. Все дети крещеные, дома верят в Бога, а в школе делают вид, что согласны с историком-атеистом:

— Только благодаря атеизму человечество обуздало прогресс.

Пространство замкнуто... Однако душу не удержать, она где-то витает высоко и вольготно, далеко за стенами класса. Над духом, как назойливые мухи, жужжат слова про геометрические фигуры и математические формулы (будь они прокляты), а перед окнами расцвела сирень. Из металлического колокольчика радио со двора машинно-тракторной станции, переименованной в “химико”, доносится мелодия бессмертной песни “Бесаме мучо”. Душе неспокойно. Непонятное томление духа. Тянет неведомо куда. Скорее бы этот последний звонок! Незаметно в обиходе появляются новые слова, они заставляют задавать вопросы, интересоваться их сущностью. На улице главенствовал свой жаргон: “байструк”, “транзистор”, “салага”, “курва”, “засранец”, а здесь другое — “этнос”, “пуховик на синтепоне”, “атомный реактор”, “лазер”, “компьютер”, а на подходе еще новые “черные дыры”, “байкер”, “дефолт”, “приватизация”, “террористы”, “клонирование”. Никто в отличники за уши не тянет. Способные от природы в круглые пятерочки выйдут сами. Когда же в час школьных каникул интересы обращаются к Дому пионеров, там бильярд и танцы в полутемном зальчике, школа с темными окнами вид имеет неприглядный и даже страшноватый. Ничто так ее не уродует, как отсутствие звонков и детских голосов.

У молодой красивой пары классных руководителей родилась вторая дочурка. Ехали на год-два, чтобы перекантоваться, ехали без теплого белья, без зимней шапки. Военное галифе и френч он не снимал с плеч восемь лет. Глядишь, незаметно перебрался из тесной коммуналки в свой дом. Купили велосипед, лодочный мотор “Вихрь” и телевизор. Понемногу пообвыкли, принимая местные ритуалы и обычаи, к которым раньше были холодны. Нынче на “коники” сами учителя одевают маски Черта, Деда, Бабы, Козы, Медведя, Коника, изменяют голоса и ходят в морозную ночь колядовать, слаженно распевая песню “Шчодры вечар”. Идут в дома родителей своих учеников. Никто и не догадывается, откуда ряженые, из какого квартала — Оселицы, Радичей, Мельников, Новоселья? А это восточники, несгибаемые атеисты колядуют. И смех, и грех. Физик Ёшка любил переодеваться в костюм цыганки. Знамо дело, для сугрева тела и души не прочь опрокинуть сто грамм беленькой. Да оно и теплее. Пока обойдешь с поздравлениями тридцать-сорок домов, получая подарки в виде колбасы, сала, пирогов да и денег тоже, умаешься, как трактор на пахоте.

— Так. Стоп, — командует старшая, — девчата направо, ребята налево. За сарай — ать-два! Ёшка? А ты куда за девчатами? Забыл, кем родился?

Смех на всю улицу. В метель поздравления с Новым годом звучат еще более сказочно и для ряженых, и для тех, кто ждет их. Больше веры в чудо, в исполнение мечты. К старым одиноким людям в дом не заходят, поздравляют одним куплетом песни под окошком. Играет баян. Кочуют от хаты к хате коники. Новый год наступил!

Зима все же за пять месяцев, хоть и не студеная, но снежная, надоедает, пролетает, как комета. Вот и ласточка под крышей вывела птенцов. Весна! Говорят, Бог с особым вниманием бережет ту школу, под крышей которой гнездятся ласточки и воробьи. Завтра последний звонок.

— Ну, так какой смысл жизни? — спрашивает у выпускника мясных дел мастер, уличный философ.

— А черт его знает. Кредо, идея, смысл жизни, борьба — все перепуталось.

— Послушай, расскажу. Растет дерево. А зачем? На зиму спилили его, нарезали дров, спалили в печи, дрова дали дым, дым пошел в небо и там с другими дымами организовал тучу. Пролился дождь. Из земли из семечка выросло новое дерево, похожее, как две капли воды, на то, которое спилили. И его спелят. И оно даст дым. И так без конца. Дерево растет, чтобы его спилили.

Последний звонок — торжество не только одной школы, а всего Городка. Пришли Олена, Наталка, Татьяна, Люба, Мария. С ними пришли Грицко, Павел, Яков, Иван, Володя и Василь. От последнего звонка до выпускного вечера — один шаг. Царит спокойствие. Не было еще такого случая, чтобы на экзамене кому-нибудь поставили двойку. Переживают больше родители. Некоторые выпускники уже год как ходят парами, а наиболее смелые и отчаянные мечтают по осени обвенчаться.

Встречаются все выпускники на Церковной горе. Тот, кто из семьи побогаче — несет с собой видеокамеру. Боже, сколько раз, кажется, встречали восход солнца с родителями на сенажати, на рыбалке. Почему же сегодня, почему в этот день восход такой особенный? Почему после громкого “ура-а!” вдруг все замолкают? Почему утирает украдкой слезу классный руководитель II “А” и почему классная II “Б” отворачивает голову в сторону? Завтра свобода. Нет, уже сегодня свобода. Вот оно и пришло, первое испытание одиночеством. У кого душа еще не совсем проснулась, тому легче.

Прощай, школа! От чего плакать? Завтра будет институт, техникум, на худой конец, училище, как не очень престижное для городокской молодежи. Школа частично научила быть людьми, потому как научить сразу на всю жизнь невозможно. Не ищите себе новых друзей, лучше школьных все равно не будет. Возвращаются домой классные руководители. Цветы в вазах, в банках, букеты на столе, на табуретках. Устали, переволновались от светло-грустной радости, а спать не хочется.

— Поздравляю тебя, любимая, вот и еще один год.

— А десять не хочешь?

Неужели десять? Не верится.

Давно не вспоминают о своем переезде в область или, на крайний случай, в район. Школа стала своей. В новом учебном году классная идет на повышение: будет завучем. Обещали директорство и классному, виски которого, несмотря на еще молодые годы, тронула седина. Куда ехать? Поздно начинать все сначала. И Городок стал сердцу ближе. Надо здесь детей ставить на ноги. Здесь.

— Спи, любимая. Завтра надо будет наведаться в школу. Наш век двадцатый, а ученикам отдадим двадцать первый.

Жена уже не слышит последних слов мужа, она сладко спит, прижав к груди младшенькую дочурку. Не разбудит их и птица иволга, которая залезает в сад. Пахнут под открытым окном бархотки. Начинается новый день сладкой каторги под названием жизнь. Пой, иволга, залечивай наши душевные раны.

Канон Ветру

Слаб человек, слаб. Послушаем лучше музыку ветра. В детстве в моем родном местечке он охранял загадки природы, тайны окружающего мира — прежде всего неба, где, как думалось, он и рождается. Впервые он западает в память зимой, среди ночи. Вокруг темень. Луны на небе нет. Глаза отдыхают. Лежишь в холодной постели напряженный, ко всему прислушиваешься. Начинается с еле слышного свиста, потом что-то невидимое (будто бросили горсть песка в окно) касается стекла... И снова свист — уже у другого окна, в кухне. Проходит минута, другая, а шум не исчезает. Начинаешь догадываться, что в соседском дворе заработал во всю мощь игрушечный самолетик на жердочке. Разнообразные звуки побеждают сон. Монотонный, с интервалом в полминуты лязг заглушает шум деревянного самолетика. Сразу

никак не поймешь, откуда этот скрежет. Соображаешь: это ветер рвет старое, заржавевшее кровельное железо на доме соседа, живущего напротив. Еще минута, и свист, так похожий на свист человека, у которого нет передних зубов, гостит возле всех окон. Невидимая рука бросает в них не то снег, не то град, ветер ищет щель, чтобы ворваться в хату.

Встаёт бабушка, задвигает в голландке вьюшку, чтобы не выстудило хату. Но поздно. Лицо, волосы, руку, подложенную под щеку, окутывает что-то холодное, неприятное. Звякает щеколда: двери в сенях разошлись, закрываются не плотно, вот их и дергает туда-сюда. В скором времени множество звуков — лязг, свист, шипение — отходят на второй план; заговорила печь или тот, кто живет в печи, а может, дух, присутствующий в хате.

Начинается с трубы. Потом звук на однообразной ноте медленно спускается к шестку, сразу резко рокошет, устрашает густыми переливами, наконец начинает выть, почему-то долго не исчезая и не меняя ритма. Становится страшно. Укрываешься теплым одеялом почти с головой — только один нос торчит. Вспоминаются предания и рассказы деда и бабы про старину. Призраки чертей и прочей нечистой силы блуждают по хате. Что-то упорно заставляет слушать только те звуки, что в печке.

“И что это на нас так покойники обижаются?” — говорит бабушка деду. “Может, уже за мной пришли?” — отвечает тихим голосом дед. При слове “покойники” делается совсем страшно. Такое чувство, что они стоят под окнами и подпевают ветру: “гу-у-у-у”.

Рвет ставни. Скрипит жестяной абажурчик над лампочкой, висящей на столбе возле хаты. Лампочка то загорается, то гаснет. Свет ее не доходит до окон. Море звуков властвует над хатой, кажется, что и сама хата скрипит, ходит ходуном. Ветер проникает сквозь дырки в полу. “Застонала” старая груша: и ее разбудили. Некоторое время у звуков вообще нет перерыва. Царит дивная симфония: завывание, свист, лязг, шум, грохот, рокот, писк.

Наконец, постепенно вьюга утихает, свист отдаляется, слабеет, но еще не хочет уняться там, в трубе. Тихо, слабо, но все-таки завывает. Под этот вой наконец успокаиваешься и засыпаешь. Снятся белые кони с густыми гривами, бегущие по улице. Утром в хате невероятно холодно. Никто первым не хочет вылезать из теплой постели. Половик у порога белый от снега, снег на окнах, на подушке.

“Слава Богу, перезимовали. Скоро Сретение, — говорит бабушка и легонько толкает деда. — Вставай, принеси дров!”

На Сретение впервые не прячешься от ветра, идешь в школу, смело подставляя ему свое бледное, грустное лицо. Рядом летит ворона. Взмахивает крыльями редко. Холода, колючести в ветре меньше. Во второй половине дня все повернется снова к зиме, но уже не так сурово; невидимая сила поворотила ветер, и теперь он дует в спину. Да так сильно, что даже толкает. Так и хочется развести руки в стороны, чтобы и тебя он понес на волне, как ворону. Пробирает холодок, сквозь одежду добирается до спины. Ищешь затишное место, дерево, чтобы хоть ненадолго спрятаться. Кажется, что в такие минуты благодаря ветру прижмет к тебе одноклассница, которая давно нравится. Еще по-зимнему гонит злой ветер первый мелкий дождик, но напрасно... Уже не напугать — рядом первая любовь, и капли дождя на лицах только в радость. Да и самому ветру долго буйствовать уже не хватает сил. Разве что неприятны сквозняки, его дети, гуляющие возле дома любимой девушки, но и они не помеха любви. Произнесенное с особым волнением “До завтра” хорошо слышно и легко доносится ветром к лицу любимой, стоящей на крыльце хаты и глядящей тебе вслед.

На Пасху ветер не только чувствуешь, но и видишь. Весной он еще не шумит в листве, а играет, забавляется с молодыми листьями, помогает им расти. Нячтит. Ранней весной он почти никогда не бывает сильным. Осторожно перелетает с дерева на дерево, тихо качает ветви, распрямляет листочки, помогает им дышать, набираться сил. Чудесно ехать в солнечный теплый день в кузове открытой машины в далекую деревеньку с концертом. Все подставляют лица солнцу, не боясь встречного ветра. А он, озорник, шевелит косы, срывает с голов шапки, платочки, а то и взметает у девочек юбки.

Еще и мыслей нет о смерти, как нет мыслей и о том, что твоя любимая девушка изменит тебе, выйдет замуж за другого... Есть только ветер, который раскручивает твою жажду любви, веселья, жизни. Нет свиста, стремительный ветер беззвучен. Он добрый и теплый. Так хочется, чтобы и твою рубашку он наполнил воздухом, превратил ее в парус. Как хорошо он распушил темно-желтые косы, как приятно они касаются твоего лица! Такое впечатление, что ветер несет одно только слово: “Люби, люби, люби!”

В дни летней жары он — спасение и помощь. Ты после болезни, еще квелый, не выходишь на работу, слабый, одинокий... Любовь исчезла. Мир отвернулся от тебя. Некому открыть форточку. Душно. Так хочется глотка свежего воздуха. Легонько задрожала форточка, и — о, чудо! — вдруг сама открылась. И вот влетел он, ветер. В эту пору он всегда холодный, целебный. Влетел не один. Принес запах жасмина, акации. Исцеляет, исцеляет твою обозленную неудачами, отчаявшуюся душу. Вытягивает тюль через балконную щель на улицу. Приятным холодком обвевает лицо, грудь. О, вестник свободы, как же отрадны твои целительные волны! Какое наслаждение твоя музыка! Как ненавязчиво, соблазнительно приглашаешь, заставляешь покинуть панельный дом и вырваться на волю, на простор, к воде, в лес. “Твоя женщина так любит лес!” — будто подсказывает он. И уже сопровождает тебя всю дорогу. Ласкает руки, лицо, губы...

Усердный соратник любого движения, он не позволяет, чтобы нам что-нибудь надоело, он все по-своему переделывает, изменяет мир вокруг нас. Гоняет по асфальту газету, пустую бутылку, носит в небе “китайского дракона”, приносит приятный запах костров с картофельного поля, подхватывает желто-серые листья, кружит их на дороге. Отцвело все, отвеселилось, осыпалось.

В эту пору низкого серого неба и частых дождей грусть окутывает твою душу, и печальные мысли о неизбежной смерти не дают покоя. Ветер не радует, раздражает. Он всю нежность и тепло отдал лету. Будто чувствуя свою вину, он прячется на берегах рек, в ивах, в камышах, на откосах в пожухших травах. Его звуки приглушены, скромны, однако же по-прежнему таинственно-привлекательны. Особенно бережно, величественно несет он осенью колокольный звон небольшой церквушки.

Случается, зима приходит и без помощи ветра. Стоят морозные, тихие солнечные дни. Нет эха. Все успокоилось. Но ведь не может быть так, чтобы того, кто рождает движение, это же движение не родило. Ветер только затаился на минуту, он запасается новыми звуками для новых мелодий. Достаточно тебе, а если уж не хватает сил, то твоему внуку, сесть в сани, стать на лыжи и покатиться с горы, и он, ветерок, тут как тут. Подхватит тебя на свои невидимые крылья, быстро пропоеет что-то над твоим ухом, и вы снова вместе. Прислушайся к его музыке, которая обязательно пробудит в душе не только воспоминания, но и надежду на то, что не все лучшее в прошлом, что и ты живешь не напрасно.

Канон Матери

Я от тебя далеко, в другом городе. Ты даже не знаешь, если бы пришла на несколько минут в свой день ангела оттуда, откуда никто не возвращается, какими бы словами я встретил тебя. Я догадываюсь, чем поинтересовалась бы ты, увидев мои чуть обрюзгшие щеки и глубокие морщины на лбу. “Не болеешь ли, сынок?” Попросила бы показать правнучку, которую называли твоим именем, поинтересовалась бы, “где все наши, как хата?”

Наших не стало ни меньше, ни больше. На место тех, кто пошел за тобой, пришли, слава Богу, новые родичи. Что-то очень давно никто не присылает писем и посылок с яблоками да салом. Подружки-ровесницы твои все умерли, а мои одноклассницы все пошли на пенсию. Хаты нет. На нашем участке чужие люди построили коттедж. Церковь, в которой ты венчалась и в которой тебя отпевали, возродили, отремонтировали заново. Отпраздновали девятисотлетие Городка. Какой же красивый, величественный памятник поставили основателю князю Давыду! Жаль, что стоит он гордо один, без людей, которые с ним приехали. Наши предки. Люди опять боятся голода,

как когда-то, и меньше рождается детей. По-прежнему все торгуют семенами да огурцами. Гонят коров на пастбище да молятся, чтобы был урожайный на бульбу год. Ты сердилась: “Не выдумывай, сынок, говори правду, бить не буду”. А я выдумывал и стал писателем. В своих произведениях рисую твой портрет и пишу твой характер, прости. Как ты и все городчуки, люблю кислое молоко, топленое и “бабку” на сковородке. Старше меня сын твоей сестры Коля и ее дочь Маня. За мной идут дети твоих братьев Таня, Маруся, Лена. Мы все ближе и ближе к вахте, до которой ты не дожила, потому что ушла очень молодой.

Я охотно пишу и о городчуках, частенько их прихорашивая, потому что люди, как и при тебе, встречаются разные: и злые, и недобрые, и завистливые. Как вспомню, что и они умрут, так и не хочу их позорить. Не осуждаю. Слова “да” и “нет” принадлежат Богу, и человеку надлежит употреблять их очень осторожно. Ты привела меня на Божий свет, взяла за руку, показала улицы, церковь, водила на новогоднюю елку и к причастию, привела в школу, на старом-старом церковном дворе показала могилы предков. Я их не запомнил, каюсь. Грешен. Мало времени — тебя уже ангелы торопят. Надо говорить то, с чего начинал. Так вот, я тебя встретил бы словами: “Мама, не было дня, чтобы я не вспоминал тебя”.

Хочу, чтобы положили меня в родной землице на стареньком кладбище, которое молча охраняют предки: расторопный дед, непрехотливая бабуля, ласковая мать, трудолюбивые дяди и сноровистые тети. Хочу, чтобы положили возле церкви, чтобы хоть духом, тенью, а все же быть ближе к стремительной Горыни, Церковной горе, родной улице. Как это приятно — быть среди того, что сформировало характер, закрепило индивидуальность.

Хочу, чтобы мимо спешили в школу дети, чтобы присели на скамейку старые деды, неспешно поговорили. Хочу, чтобы тарахтела телега по булыжной мостовой и чтобы в праздники, особенно на Пасху, дети бегали вокруг церкви, подбрасывали вверх зажженные шишки... Может, одна из них упадет и на меня. Хочу слышать легкий шум ясеней, лип, растущих за церковью, звон колоколов над головой. Солнце, необыкновенно красиво освещая купола, отраженные от них лучи посылает на окна и крыши хат. В престольные праздники, на Казанскую, придут из соседних местечек и деревень за милостыней нищие, слепые музыканты. О, сколько радости будет от незатейливых звуков гармонии! Хочу, чтобы ласкал, летал надо мною терпко-приятный запах черемухи и густой запах сирени. Хочу слышать, как на колокольне радуется жизни ласточка, как поет скворец и бранятся вороны. Ночью лежать не страшно. Будут возвращаться со свадеб, новоселий, родин, будет подвыпивший хозяин петь, а жена колотить его кулаком в плечи. Хочу слышать их песни, перебранку, плач младенца, которого, как когда-то меня, принесут в храм крестить. На Радуницу, на Покров кто-то обязательно придет, положит на могилу красные яйца, пасху, цветок, поставит чарочку, свечку. Распустится акация. Ребенок, сидя на плечах у отца, потянется к белоснежным цветкам-гроздьям. В субботу и воскресенье, когда молодежь соберется на танцы, будут пронзать простор, возноситься до самого звездного неба мелодии шемаще-грустного танго, игривой польки.

Хочу, чтобы росистым утром в первом августовском тумане гнали на пастбище коров, овец, чтобы лениво лаяла собака, подгоняя их. Только здесь, в родном уголке, тишина не будет пугать, а утешать сладостью и покоем. Как хорошо! Все рядом. Все твое. Родное. Вечно изменчивое и постоянное в неизменности.

Еще хоч..у ...у...

Не хочу... не хочу... умирать не хочу!

В церкви Казанской Божией Матери пел маленький хор местных певчих. Пели, как всегда, хорошо и вдохновенно. Вполсилы певчие не поют. Я стоял, как завороченный, у церковных ворот, и слушал, слушал, слушал... Притихла природа. Прямо к небесам несло: “Господи, да исправится молитва моя...”